



821.161.1.09Gumilev N.S.

Павел Успенский

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
National Research University Higher School of Economics, Russian Federation
paveluspenskij@gmail.com

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ КАК НИКОЛАЙ РОСТОВ: ОБ ОДНОЙ ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЭТА¹

«Записки кавалериста» (1915–1916) Н. С. Гумилева, посвященные участию поэта в Первой мировой войне, обнаруживают значительное влияние романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ «Записок кавалериста» позволяет прийти к выводу, что на поверхностном уровне Гумилев нередко полемизировал с толстовской концепцией войны, однако на глубинном уровне повествователь «Записок кавалериста» ориентировался на Николая Ростова, не только попадая в те же ситуации, что и герой Толстого, но и повторяя его психологический тип. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что во время Первой мировой войны Ростов являлся для Гумилева жизнетворческой моделью.

Ключевые слова: Н.С. Гумилев; «Записки кавалериста»; Первая мировая война; Л.Н. Толстой; «Война и мир»; поэтика; война и литература; жизнетворчество

Notes of a Cavalryman (*Zapiski kavalerista*, 1915–1916) by Nikolai Gumilev are dedicated to the poet's participation in World War I and reveal a deep influence of Tolstoy's novel *War and Peace*. A brief analysis of the work leads to the conclusion that Gumilev on a superficial level often argued with Tolstoy's concept of war. Nevertheless, on a deeper level he took cues from Nikolai Rostov not only by getting in the same situations as Tolstoy's hero, but also by resembling Rostov's psychological type. This consequently allows us to claim that during World War I, Nikolai Rostov was a model according to which Gumilev fashioned his own life.

Keywords: Nikolay Gumilev, *Notes of a Cavalryman (Zapiski kavalerista)*, World War I, Leo Tolstoy, War and Peace, poetics, war and literature, building one's life

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я, между прочим, упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, «одним своим существованием мешает ему писать стихи». Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

А. Ахматова

¹ В данной статье использованы результаты проекта «Европейская литература в компаративном освещении: метод и интерпретация», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2016 году. Автор выражает признательность И.З. Сурат, Л.Л. Пильд, Н.А. Богомолу и К.М. Поливанову, которые ознакомились с рукописью статьи и высказали ряд ценных замечаний.

В большей и хорошо изученной теме «русская литература и Первая мировая война»² важное занимает жизнь и творчество Н. Гумилева. Один из немногих поэтов, отправившихся на фронт, Гумилев принимал активное участие в военных действиях и зафиксировал свой боевой опыт в «Записках кавалериста» (печатались в газете «Биржевые ведомости» с февраля 1915 по январь 1916 г.) — «документальной повести» (по определению Е.Е. Степанова), «описывающей весь период службы Гумилева в лейб-гвардии Уланском полку» и «рассказывающей обо всех главных эпизодах первого года его участия в войне» (Степанов 2014: 63–64). Исторический и реальный план «Записок кавалериста» был чрезвычайно подробно прокомментированы Е.Е. Степановым, который, проанализировав огромный массив архивных документов, пришел к выводу, что в тексте Гумилева нет выдуманных эпизодов (Степанов 2014: 51–222). Поэтике и нарративному устройству «Записок...» практически не уделялось внимания, и здесь мы располагаем лишь наблюдениями о том, что «Записки...» по своей тональности отличаются от патетичной военной лирики Гумилева и подчас весьма ироничны (Rusinko 1977). Цель настоящей работы — показать, что во многих эпизодах «Записок...» Гумилев ориентируется на роман-эпопею Л. Толстого «Война и мир»³. На поверхностном уровне текст Гумилева может восприниматься как полемичный по отношению к великому роману, однако на более глубинном уровне герой Гумилева во многом напоминает толстовского героя — Николая Ростова,⁴ и это позволяет думать, что Ростов в значительной степени был для поэта жизнетворческой моделью.

В «Записках...» есть одна примечательная сцена. Первая мировая война; несколько унтер-офицеров — в числе которых был и Гумилев — выпросили у поручика разрешение зайти во фланг германцам и, «если удастся, немного их пугнуть» (Гумилев VI: 175). Пробираясь через густой лес, офицеры прокрались в стан врага. На небольшой поляне два немца, не зная о грозящей им опасности, «рассматривали какую-то вещицу, монету или часы». Для повествователя это был момент антропологического узнавания: еще несколько минут назад он представлял себе германцев то противными «карликами», то загадочными «великанами», а теперь получалось, что по ту сторону фронтовой линии такие

² См., например, сборник: (Полонский 2014; с указанием дополнительной литературы).

³ Биограф Гумилева В. Шубинский в самых общих чертах отмечал переключку «Записок...» и прозы Толстого, но эти наблюдения им не были развиты. См.: (Шубинский 2014: 429, 433). На общем уровне ориентация Гумилева на Толстого отмечена и в комментариях к полному собранию сочинений поэта, однако и там не проводится каких-либо основательных сопоставлений. См.: (Гумилев VI: 471, 473; комм. Е.Е. Степанова). Комментаторы также отмечали, что в «Записках кавалериста» Гумилев ориентируется на «Путешествие в Арзрум» Пушкина, однако не приводят каких-либо развернутых сопоставлений (Гумилев VI: 256). К сопоставлению текста Гумилева с произведением Пушкина мы в рамках этой статьи обращаться не будем. Отдельно стоит вопрос, учитывал ли Гумилев опыт В.М. Гаршина, — несомненно, это тема для отдельной работы.

⁴ Далее, говоря о психологии Николая Ростова, мы не будем опираться ни на какую-либо психологическую классификацию, ни на специальные исследования по психологии характера. Для нас, прежде всего, важно показать, что Гумилев в изображении своих поступков и в описании своей психологии во многом повторяет героя «Войны и мир»; черты сходства характеров и близость психологических контуров для нас важнее, чем их место в научной психологической классификации.

же люди. «Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками». Узнавание, однако, длилось совсем недолго и не привело к, быть может, ожидаемому для читателя осознанию, что война трагична по своей природе. Дальнейшие события развивались совсем не в гуманистическом ключе:

Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменялась боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ [...] сразу согнулся и, как кошка, бросился в лес. [...] «А теперь айда!» – шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали (Гумилев VI: 176).

Безвестный рыжебородый человек, низведенный до редкого хищного животного, до «великолепной добычи», убит, и это вызывает легкое волнение и явную радость у офицеров — «с веселым и взволнованным лицом». О своих переживаниях повествователь умалчивает, и хотя до этого он признавался, что «запомнил» лицо убитого, едва ли мы можем говорить о работе «кошмарной совести» (И. Анненский) — это память об удачном «трофее», и трагическое значение этой памяти вытеснено в глубины бессознательного.

Возможная гуманистическая трактовка эпизода о запомнившемся лице — гиперкоррекция, связанная с опытом чтения классической литературы. Описывая историю этого убийства, повествователь передает свои эмоции, обращаясь к литературным источникам: «Мы кралась, как мальчишки, играющие в героев Майн-Рида или Густава Эмара» (Гумилев VI: 175). Но только одного напрашивающегося в этом эпизоде имени он не называет, тогда как у читателя — благодаря соседствующим смысловым полям охоты и отпечатавшегося в памяти лица — уже могла возникнуть ассоциация с творчеством Толстого.⁵ На мотивном уровне приведенный эпизод из «Записок кавалериста» — не что иное, как контаминация двух хрестоматийных эпизодов биографии Николая Ростова. В одном из них Ростов, полный воинского задора, ранил французского офицера, однако толстовского героя поразило не воплощение своей мечты проявить воинскую доблесть, а несоответствие героики сражения и облика раненного, чье «комнатное лицо» напоминает «лицо прусского крестьянина» именно несоответствием военному контексту:

⁵ Говоря далее о поэтике «Войны и мира» в связи с «Записками кавалериста», мы опирались на следующие работы о Л.Н. Толстом: Эйхенбаум Б. «Лев Толстой. Шестидесятые годы» (Часть 4. «Война и мир») (Эйхенбаум 2009: 498–562); Гинзбург Л.Я. «О психологической прозе» (Гинзбург 1999: 242–400) и в особенности на работу С.Г. Бочарова о поэтике романа-эпопеи (Бочаров 1987). Отметим также, что некоторые рассмотренные ниже эпизоды «Войны и мира» характерны для других военных рассказов Толстого. Их мы рассматривать не будем, предполагая, что ключевым текстом для Гумилева все же являлся роман. Добавим, что сконцентрированность настоящей работы на фигуре Николая Ростова не отменяет, что сходные эмоции в романе испытывают и другие герои.

Он, испуганно шурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо (Толстой VI: 70).

В другом хрестоматийном эпизоде Ростов молил Бога, чтобы ему на охоте попался волк. Эмоциональное состояние Ростова во время охоты колебалось от отчаяния до крайней экзальтации, а когда волк появился в поле зрения Ростова, герой испытал наплыв подлинного счастья, которое только усиливается с поимкой хищника:

Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. [...] Та минута, когда Николай увидел в водомоине копошащихся с волком собак, из-под которых виднелась седая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога и с прижатыми ушами, испуганная и задыхающаяся голова [...], была счастливейшей минутой его жизни (Толстой V: 262, 264).

Ростовское упоение охотничьей победой служит эмоциональной моделью для описания того, как герой Гумилева застрелил рыжебородого немца с лицом крестьянина.

«Повествователь», «герой Гумилева» — не случайные аккуратные оговорки, вызванные желанием смягчить разговор об описанных событиях. Вне зависимости от того, произошли эти события или они остались только нарративной реальностью, очевидно, что Гумилев хотел бы связать со своим именем этот поступок, и перед читателем рассмотренный эпизод ставит «грозные вопросы морали». О «герое Гумилева» говорится здесь по другим причинам — повествователь «Записок кавалериста», несомненно, играет определенную роль, реализуя ее как в самом тексте, в нарративном «я», так и в «реальных» событиях, если исходить из того, что «Записки...» ориентированы на достоверность изображения.

Эта роль напрямую связана с «Войной и миром». Традиционный историко-литературный подход подвел бы нас к мысли, что эпизод убийства рыжебородого немца является частью полемики Гумилева с Толстым. Эта полемика, в самом деле, проявляется в «Записках кавалериста». Так, в одной из главок повествователь полемично вспоминает об авторе романа-эпопеи: «Лев Толстой в “Войне и мире” посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше,

чем снаряды начинали рваться над его помещением» (Гумилев VI: 135)⁶. Вместе с тем, в тексте Гумилева слишком много эпизодов, напоминающих нам о романе Толстого, и было бы неправильно сводить поэтику и прагматику «Записок кавалериста» к полемичному переосмыслению «Войны и мира». К тому же, в многообразии коллизий и сюжетных перипетий толстовского романа «Записки кавалериста» ориентируются только на одну линию – линию Николая Ростова.⁷

Повествователь в произведении Гумилева — это Николай Ростов, но не Ростов, описанный и интерпретированный Толстым, а Ростов, как бы оторвавшийся от своего создателя и заживший отдельной самостоятельной жизнью в «Записках кавалериста». Он попадает в ситуации, иногда напоминающие коллизии ростовской сюжетной линии в «Войне и мире»; он наделен той же ростовской эмоциональностью, доблестью и стремлением быть прекрасным военным и хорошим товарищем. Более того, он также, как и Ростов из «Войны и мира», слишком многое не способен додумать до конца и предпочитает «готовое», основанное на когда-то усвоенных убеждениях, отношение к происходящему.

Вернемся еще раз к хрестоматийному французу с ямочкой на подбородке. Мы привыкли интерпретировать этот эпизод как сильнейшее гуманное место в русской литературе. Вместе с тем, нетрудно заметить, что сам Ростов не доходит в своих мыслях до того, что знает Толстой и понимает читатель, — он останавливается перед невозможностью совместить в своем сознании военную героику и чувство, что по ту сторону линии фронта находятся такие же люди. Этот конфликт не решается Ростовым интеллектуально, герой может только переживать его, чувствовать смутные душевные импульсы, но не давать им никакой интерпретации. Точно так же устроен и герой Гумилева: он запоминает лицо немца, но обрывает забившуюся было в глубине сознания мысль, захлестывает ее резким физическим движением — «подтянул винтовку <...> и нажал спуск» (Гумилев VI: 176). В плане психологии герои проявляют себя одинаково, хотя этого нельзя сказать о поступках. Если описание убийства на уровне поэтики предстает своего рода полемичным использованием толстовских мотивов, то на глубинном уровне герой Гумилева повторяет — совсем в других обстоятельствах — психологию Ростова. Исключительно полемикой с романом эта глубинная переключка не может объясняться, — дело здесь именно в модельном подражании, в жизнетворческой модели.

⁶ Полемичное отношение к «Войне и миру» можно увидеть и в военной жизни Гумилева. 16 июля 1915 г. он писал из действующей армии А. Ахматовой: «Я все читаю Илиаду; удивительно подходящее чтение. У ахеня тоже были и окопы, и заграждения, и разведка. А некоторые описанья, сравнения и замечанья сделали бы честь любому модернисту» (Гумилев VIII: 189). Именно жизненной полемикой с Толстым такое чтение можно трактовать потому, что в русской литературе у «Войны и мира» был статус народного эпоса. Так, например, в авторитетнейшем для своего времени учебнике «История русской словесности» В.В. Сиповский сочувственно цитирует Д.Н. Овсяннико-Куликовского: «Без Каратаева и Кутузова <...> великая эпопея “Войны и мира” не была бы тем, чем она по праву является — великим законченным национальным памятником, — она бы не была нашей “Илиадой” и “Одиссеею”» (Сиповский 1912: 277–78). Гумилев, соответственно, относительно недавнему авторскому эпосу предпочитает эпос архаический (классический).

⁷ За несколькими исключениями, о которых будет написано ниже.

Повествователь «Записок...» своими эмоциями, ценностями и поступками во многом напоминает Ростова, иногда даже как будто оказываясь в тех же ситуациях, что и толстовский герой.

Для героя Гумилева полк становится родным домом, и он не мыслит себя без боевых товарищей. В этой связи характерно, что в «Записках...» повествование от лица «мы» преобладает над повествованием от первого лица. Чувство коллективной общности позволяет повествователю чувствовать удовлетворение: «Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями» (Гумилев VI: 144); «Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое» (Гумилев VI: 178). Неслучайно, один из немногих эпизодов, в котором описывается страх повествователя, — это эпизод, в котором заболевший герой Гумилева проспал отступление: «Халупа была пуста, уланы ушли. Тут я действительно испугался». Однако догнав свой полк, герой вновь чувствует эмоциональный подъем: «...какая радость была сознавать, что я уже не несчастный заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно, и всей русской армии. Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. [...] Бивак был отличный...» (Гумилев VI: 160).

Эта привязанность к полку напоминает мысли и чувства Ростова. Вернувшись из отпуска в строй, Ростов чувствует себя дома — «Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский» (Толстой V: 131), и это переживание полка как второго дома успокаивает героя:

Ростов испытал то же [...] сознание того, что он здесь дома, на своем месте [...]. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался в выборах [...] Не было возможности ехать туда или не ехать туда [...]; не было этого бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше; [...] Весь мир был разделен на два неровные отдела: один — наш Павлоградский полк, и другой — все остальное. И до этого остального не было никакого дела» (Толстой V: 131).

Радостное переживание полковой жизни, чувство причастности к коллективу, четкое понимание, какие обязанности необходимо выполнять, — это характерная черта психологии Ростова. С этой чертой связана и другая характерная особенность сознания Ростова — его уверенность, что военные начальники все держат под контролем и что человек не должен ни о чем размышлять, поскольку круг его действий определяют другие, вышестоящие люди, и задача военного сводится к выполнению приказов. Жизненная программа Ростова на войне характеризуется следующей идеей: «выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку; а пошлют, делай то, что ясно и отчетливо определено и приказано, — и все будет хорошо» (Толстой V: 131–32). См. также более обобщенную авторскую характеристику: «Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие» (Толстой VII: 19).

В тексте Гумилева мы наблюдаем очень похожее переживание военных событий. Как и Ростов, повествователь в «Записках...» уверен в том, что стоящие выше командиры держат все под контролем и что все военные действия подчинены четкой логике командования: «Послышалась команда [...] — и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал [...]. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скоман্দуют идти в атаку или сдаться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы» (Гумилев VI: 128). Ср. также в другом эпизоде: «чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без пуганицы, без суматохи и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать» (Гумилев VI: 140).

Из-за этой уверенности, что все происходящее находится под контролем, герой Гумилева редко испытывает страх и только старается сделать все как можно лучше, чтобы соответствовать и приказам, и ожиданиям: «Особенного страха я не испытал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше» (Гумилев VI: 133). Из-за этого же в «Записках...» часто проявляются эмоции военной радости и веселья — это радость и веселье от удачно выполняемого всеми участниками боевых действий приказа: «Наступать — всегда радость» (Гумилев VI: 123); «Мы провожали их огнем. [...] Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лоцины» (Гумилев VI: 157); «А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами» (Гумилев VI: 178) и т.п. Радость выполнения приказов, радость участия в игре по определенным правилам, причем игре, исключаяющей рефлексии и критическое отношение к происходящему (так, современного читателя не может не удивлять чувство радости от вида «падающих людей»), — это то, что роднит повествователя «Записок...» с Ростовым, хотя стоит подчеркнуть, что Толстой все же не приписывает своему герою радости из-за смерти врага. То, что есть в характере Ростова только в потенции, герой Гумилева предельно и демонстративно усиливает.

Личный боевой опыт повествователя «Записок...» также напоминает опыт Ростова. В эпизодах, которые мы будем обсуждать далее, проявляется один и тот же характерный момент: те или иные события, о которых повествует герой Гумилева, оказываются очень «ростовскими». Вместе с тем, повествователь «Записок...» старается дистанцироваться от точки зрения и системы ценностей Толстого и как бы усилить голос самого Ростова. По сути, Гумилев как будто переписывает психологический контур сознания и поведения Ростова, освобождая его от оценок всезнающего автора (т.е. самого Толстого).

Рассмотрим несколько примеров. Первый боевой опыт повествователя в «Записках...» был связан с разведкой. Герой отправился изучать ферму и обратил внимание на кучу соломы, в которой мог скрываться неприятель.

Поглощенный своей догадкой, герой не сразу заметил, что он подвергается обстрелу, но в итоге был вынужден ускакать. Подводя итоги этой небольшой операции, повествователь не упускает случая отметить ее полезность («Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека») и вместе с тем делится своими эмоциями:

А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности несколько не смягчила этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников [...] — единственное оправдание всей жизни кавалериста (Гумилев VI: 120).

Напомню, что первый военный опыт Ростова — поджигание моста через р. Энс — был связан с тем, что герой попал под обстрел. Ростов в тот момент испытал «страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни» (Толстой IV: 188). Если сравнивать два эпизода, то можно заметить, что герой Гумилева как будто вытесняет переживания, связанные со страхом (или умалчивает о них), сообщая лишь о чувстве обиды из-за невозможности ввязаться в бой. Между тем, желание пуститься в атаку согласуется с эмоциональным состоянием Ростова в его следующем военном эпизоде. Уже после случая на р. Энс, когда Ростов решил, что он — трус, он все равно жаждал проявить себя в бою: «“Поскорее, поскорее бы”, — думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей-гусаров» (Толстой IV: 236).

В другой раз герой Гумилева попадает в опасную ситуацию случайно: он скакал по дороге, и его вдруг заметил неприятель. Рассмотрим подробнее этот эпизод:

Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. [...] Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге [...]. Это была трудная минута моей жизни [...] пули свистели мимо ушей [...], одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица [...] Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. [...] Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. [...] Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и забытую по миновании опасности (Гумилев VI: 130).

Эту сцену можно воспринимать как сотканную из эпизодов биографии Ростова. Раненый под Шенграбенным Ростов видит приближающегося к нему солдата вражеской армии: «Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чужая физиономия этого человека, который со штыком наперевес [...], легко побегал к нему, испугала Ростова» (Толстой IV: 238). Здесь необходимо обратить внимание на то, что в обеих цитатах очень важная роль отводится лицам врага,

которые даны крупным планом и запоминаются героям⁸. Упоминание «странно» вытянутой руки напоминает общее удивление и недоумение Ростова в его военных эпизодах (ср. также с фирменным приемом Толстого — «остранением»). Наконец, молитва героя «Записок...», по всей вероятности, перекликается с более ранним военным опытом Ростова у р. Энс, когда толстовский герой также придумывает свою молитву: «Господи боже! Тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня!» (Толстой IV: 188).

Вместе с тем, герой «Записок...», повторяя детали биографии Ростова, дистанцируется от описаний автора «Войны и мира». Если для Толстого и в эпизоде поджога моста, и в сцене ранения Ростова и его бегства в лес важно создать «остраненный» взгляд героя и всеми поэтическими средствами передать трагичное несоответствие жизни и войны, показать расхождение воображаемого героизма и реальной работы сознания человека в сражении, то Гумилев, конечно, ставит перед собой другие задачи. Его герой становится как будто идеализированным Ростовым, который хотя и испытывает страх, удивленно запоминая вражеские лица и бормоча придуманную молитву, все-таки сохраняет адекватность восприятия и с блеском и доблестью справляется с опасной ситуацией. Прочитываемый выше эпизод из «Записок...» как будто бы мог быть эпизодом, когда Ростов рассказывал о своем опыте сослуживцам. Ср. толстовскую характеристику рассказа Ростова о своих «подвигах»:

Он рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слышали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно [...] перешел в неправду. [...] Не мог он им рассказать так просто, что поехали всей рысью, он упал с лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза (Толстой IV: 305).

Ростовское приукрашивание своего опыта в сочетании с правдивостью — это то, что, по всей вероятности, роднит толстовского героя с повествователем «Записок...», который хотя и признается в том, что ему было страшно, но как будто опускает некоторые психологические подробности повествования.

С описанием военных эпизодов жизни Ростова связан еще один фрагмент из «Записок...». Повествователь описывает, как солдатам удалось обратить немецкий эскадрон в бегство. Обратим внимание на финал этого эпизода, после которого в тексте следует смысловая пауза (разделительные три звездочки):

⁸ Этот эпизод из «Войны и мира» еще раз повторится в «Записках...»: войскам было приказано отступать, и герой Гумилева стал оповещать об этом солдат. «Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил, не целясь, и со всех ног бросился догонять моих товарищей». О военном опыте Ростова здесь напоминает и данное крупным планом вражеское лицо, и оружие в руках у героя, и быстрый бег. Однако если Ростов вместо того, чтобы стрелять из пистолета, бросает его у француза, а потом быстро бежит в лес (Толстой IV: 238), то герой «Записок...» все-таки стреляет и не убегает, а бросается догонять сослуживцев.

«Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал» (Гумилев VI: 157). Тем же самым наречием заканчивается и о эпизод поджога моста у р. Энс, когда полковник говорит: «два гусара ранено, и один наповал, - сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово наповал» (Толстой IV: 188). Гумилев, однако, «переписывает» Толстого. Если полковник у Толстого радуется потерям, потому что это приблизит его к наградам, то герой Гумилева, используя то же самое «красивое слово», радуется смерти вражеского солдата. Отмечу, что помимо одинаковой функции наречия (окончание главки), в обоих случаях речь идет об одном убитом.

В военных сценах герой «Записок...», впрочем, один раз ориентируется не на Ростова, а скорее на Андрея Болконского. Я имею в виду следующий эпизод: «Один раз снаряд грохнул шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать — раз, два, три... Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет» (Гумилев VI: 168). Эта сцена напоминает эпизод, в котором Болконский получил смертельное ранение: «в двух шагах» от князя Андрея «шлепнулась граната», но Болконский не счел нужным лечь на землю; он начал отчитывать прилегшего на землю офицера за трусость, и в этот момент граната взорвалась. При этом, смотря на дымящуюся гранату, Болконский думал о смерти (Толстой IV: 262). Герой Гумилева, как и Болконский, не бросается на землю, однако вместо мыслей о смерти предпочитает просто считать.

Переходя от участия в сражениях к участию в других военных эпизодах «Записок...», необходимо обратить внимание на две истории. В одной из них героя Гумилева «послали с донесением в штаб нашей дивизии» (Гумилев VI: 137). Пробираясь к штабу, он попал под обстрел, а сам штаб нашел только через пять часов, «и не в деревне, а посреди лесной поляны», поскольку штаб «тоже отошел под огнем неприятеля» (Гумилев VI: 138). Этот сюжет, несомненно, повторяет эпизод из военной биографии Ростова. В Аустерлицком сражении Багратион отправил Ростова с донесением к главнокомандующему. Ростов поскакал на поиски Кутузова или государя вдоль линии фронта, в какой-то момент попал под обстрел, чуть было не подъехал к случайно встреченному государю и, наконец, случайно узнал, где находится кутузовский штаб (Толстой IV: 355–64). Во фрагменте из «Записок...» можно увидеть полемику с описанием Аустерлицкого сражения в «Войне и мире» (у Гумилева штаб отступил под влиянием огня неприятеля, а не «потерялся», как в романе-эпопее), но примечательнее, на мой взгляд, само совпадения жизненных эпизодов Ростова и героя Гумилева.

В другом эпизоде «Записок...» повествователь передает ощущение утомительного военного перехода бессонной ночью:

Порой возникали галлюцинации. [...] Несколько часов подряд мы скакали лесом. [...] Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого

невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, [...] только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух [...] И в так лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня (Гумилев VI: 159).

Приведенный эпизод не может не напомнить известную сцену, когда в ночь перед Аустерлицким сражением Ростов решил объехать своих гусар, и, объезжая их, увидел черный бугор, на котором «было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома?»; далее герой провалился в полусон, в котором думал о государе, сестре и сражении (хрестоматийное описание засыпающего сознания Ростова, конечно, памятно читателю) (Толстой IV: 335–36). Сопоставляя эти эпизоды, мы вновь можем увидеть полемику Гумилева с Толстым. Если Ростов проваливается в сон и больше не может контролировать свое сознание, то герой «Записок...», также находящийся между явью и галлюцинациями, и в этом состоянии думает о Духе.

Количество примеров диалога Гумилева с романом Толстого и его героем можно было бы умножить.⁹ Мы позволим обратить внимание еще на один сюжет, выходящий за рамки «Записок...» и дополнительно доказывающий, на наш взгляд, что Ростов был для Гумилева житнетворческой моделью.

Каждому читателю «Войны и мира» памятна влюбленность Ростова в Александра Первого, и в эмоциональной жизни юного героя государь играет чрезвычайно важную роль. В произведении Гумилева ни о государе, ни о членах царствующей фамилии ничего не говорится. Однако известные нам обстоятельства биографии поэта позволяют увидеть, что к властвующим особам Гумилев мог питать почти ростовские чувства.

⁹ Влияние Толстовского романа проявляется еще как минимум в двух эпизодах «Записок...». В одном из них повествователь сообщает: «...когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил боевое крещение» (Гумилев VI: 126). Эти слова могут напоминать как о небе Аустерлица, на которое смотрел Андрей Болконский (Толстой IV: 354), так и о небе над р. Энс, на которое смотрел Ростов (Толстой IV: 187-188). В другом эпизоде повествователь восхищается «наступлением нашей пехоты». Войско напоминает ему «цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динозавров и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф» (Гумилев VI: 141). Думается, что в этой характеристике можно увидеть усложнение метафоры Толстого, описывающей единение нации как «роя». В обоих случаях обращение к Толстому представляется полемичным.

Так, в июне 1916 г. Гумилев, находясь в госпитале, написал поздравительное стихотворение Великой Княжне Анастасии Николаевне, в котором, в частности, были следующие строки:

Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодарно донеслась. [...]

И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь царскосельского дворца.
(Гумилев III: 104)

В этих строках поэт связывает воинскую доблесть с любовью к Великой Княжне, и Анастасия Николаевна оказывается вдохновительницей солдат на новые битвы. В другом стихотворении, написанном также в июне 1916 г., Гумилев обращается к Императрице Александре Федоровне, и в этих строках нельзя не заметить идеализацию адресата:

Несчастных кроткая заступница,
России милая сестра,
Где вы проходите как путница,
Там от цветов земля пестра.
(цит. по: Степанов 2014: 242)

Именно в процитированных стихотворениях Гумилева проявилась еще одна характерная для Ростова черта, не нашедшая отражения в «Записках кавалериста», только любовь к государю заменяется любовью к государыне и великим князьям. Ср. в воспоминаниях Э. Голлербаха: Гумилев «склонялся к монархическому строю, но говорил шутя, что непременно хотел бы иметь императрицу, а не императора» (Крейд 1990: 21).

Итак, повествователь в «Записках кавалериста» на поверхностном уровне часто полемизирует с Толстым, однако на глубинном уровне ориентируется на героя романа-эпопеи. Во многих эпизодах он не только повторяет психологию и черты поведения Ростова, но и попадает в те же ситуации, что и герой «Войны и мира». Поскольку «Записки кавалериста» по своему жанру являются документальным текстом и поскольку в задачу Гумилева входило, чтобы повествователь в этом произведении ассоциировался для читателя с самим поэтом, мы можем полагать, что для Гумилева Ростов был жизнетворческой моделью. Сказанное, конечно, не означает, что все эпизоды «Записок...» связаны исключительно с «Войной и миром», многие не рассмотренные нами фрагменты отличаются от ростовской линии и своей поэтикой, и поведением

повествователя. Однако думается, что рассмотренные примеры чрезвычайно показательны.

В научной литературе высказывалось предположение, что «Записки кавалериста» прямо наследуют традициям Дениса Давыдова (Шошин 1994: 210), обсуждалось и предположение, что произведение Гумилева ориентировано на «Записки кавалерист-девицы» Н. Дуровой (см.: Гумилев VI: 469). Думается, что для Гумилева действительно был важен миф о доблестном гусарстве, однако наш анализ позволяет прийти к выводу, что этот миф во многом формировался под влиянием одного из самых главных романов русской литературы.

О влиянии «Войны и мира» на Гумилева свидетельствуют как минимум два текста поэта. Одно стихотворение было восстановлено по памяти А. Ахматовой и датируется 1910 г.:

Мой прадед был ранен под Аустерлицом
И загерство в лес унесен денщиком,
Чтоб долгие, долгие годы томиться
В унылом и бедном поместье своем.
(Гумилев II: 169)

В этом четверостишии, в котором документально описана судьба прапрадеда поэта Я.А. Викторова (1780–1872), Гумилев формирует свою семейную легенду, привязывая ее к далеким героическим историческим событиям, находящимся в ореоле эпохи русско-французских войн начала XIX в. Вместе с тем, процитированные стихи внимательному читателю не могут не напомнить контуры биографии Андрея Болконского, который, как известно, был тяжело ранен в Аустерлицком сражении, а потом долгое время уединенно жил в свое поместье. По-видимому, у нас есть все основания предполагать, что в этих стихах Гумилев в значительной степени соотносил биографию прадеда с биографией толстовского героя, а заодно — поскольку речь идет о родственнике — проецировал ее на себя.

Второй важный в свете «Войны и мира» поэтический текст относится к более позднему времени, чем «Записки кавалериста». Отмечалось, что финал стихотворения «Слово» (1919) — «И как пчелы в улье опустелом / Дурно пахнут мертвые слова» (Гумилев IV: 67) — мог возникнуть под влиянием знаменитого описания оставленной Москвы как улья без матки; см.: (Nilson 1994: 80–84; Тарановский 2000: 161); ср. описание в «Войне и мире»: (Толстой VI: 340–42).

Приведенные примеры свидетельствуют, что Толстой находился в поле внимания Гумилева. Пытаясь ответить на вопрос, почему именно Николай Ростов стал для поэта жизнотворческой моделью, мы можем высказать предположение, что Ростов был очень близок мировоззрению и характеру самого Гумилева. Так, в воспоминаниях о Гумилеве многие современники

обращали внимание на его демонстративный монархизм (Крейд 1990: 21, 134, 176, 200, 241) и подчеркнутую религиозность (Крейд 1990: 22, 177). Некоторые современники также считали поэта не очень рефлексивным человеком. «Он не был мыслителем, не обладал умом, проникающим в глубь стоящих перед человечеством вопросов», — несколько в духе чеховских героев замечает С. Маковский (Крейд 1990: 71). Рельефнее выглядит характеристика А. Левинсона, относящаяся к интересующему нас военному периоду жизни поэта:

Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. [...] Патриотизм его был столь же безоговорчен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно, чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности (Крейд 1990: 215).

Эта характеристика хорошо резонирует с нарративными особенностями и образом повествователя в «Записках кавалериста» и, с нашей точки зрения, заставляет вспомнить о Николае Ростове.

Конечно, мы не можем безоговорочно полагаться на взгляды современников, подчас не очень глубоко знавших поэта, однако и не можем полностью игнорировать их точку зрения. По справедливому замечанию Р.Д. Тименчика, «рассчитанные на театральные эффект поступки губительно отражались на его <Гумилева — П.У.> репутации» (Тименчик 1986: 116–17).

Наконец, необходимо напомнить, что в очень многих аспектах своей жизни и творчества Гумилев ориентировался на книжную культуру, создавая «тексты жизни» и «тексты искусства» (Минц 2004) по заранее известным моделям и образцам (этот аспект заострен в статье с характерным заглавием «Читатель книг» — (Богомолов 1999)). Во многом эти модели осознавались уже современниками поэта. Так, например, Маковский отмечал, что Гумилев не любил музыку вслед за обожаемым Т. Готье (Крейд 1990: 68), а к поездке в Абиссинию готовился по примеру Рембо (Крейд 1990: 59); ср. (Давидсон 1992: 65–66). Создавая свои биографические и поэтические легенды, Гумилев опирался, в частности, на тексты Ницше, на жизненные эксперименты и поэтику символистов и на масонское учение (Богомолов 1999; Богомолов 1999б: 113–44; Йованович 2004а). В таком контексте нас не должно удивлять, что на войне Гумилев выбрал еще одну житнетворческую модель для подражания.

Некоторые сомнения может вызывать не сам факт наличия житнетворческой модели, а то, что за образец взят литературный герой, на первый взгляд, не очень актуальный для культуры рубежа веков. Для русского модернизма характерно, прежде всего, глубокое осмысление героев Ф.М. Достоевского, которые иногда становились житнетворческими моделями; см. в связи с этим сборник статей с указанием дополнительной литературы: (Тахо-Годи 2013). Вместе с тем, мы можем сослаться на в чем-то схожий со случаем Гумилева неожиданный опыт житнетворческой программы: М. Йованович в свое время блестяще показал, как Базаров, герой романа Тургенева «Отцы и дети», стал житнетворческой

моделью для Маяковского (Йованович 2004б). Этот параллельный случай парадоксального влияния литературного героя на модернистского поэта, с нашей точки зрения, подсвечивает основной сюжет нашей статьи. Стоит также добавить, что за два года до начала Первой мировой войны состоялся 100-летний юбилей войны 1812 года, который, в свою очередь, не мог не реактуализировать «Войну и мир». Для участников начавшейся спустя два года мировой войны роман Толстого предоставлял большое количество моделей для подражания, и потому неудивительно, что склонный к театрализации своей жизни Гумилев выбрал наиболее созвучного себе героя.

Ростов, однако, не стал для Гумилева постоянной моделью. Уже в 1916 г. Гумилев перешел на службу в 5-й гусарский Александрийский полк, и его военная служба 1916–1917 гг. сопровождалась радикальным переосмыслением военного опыта; см. подробнее: (Тименчик 1986). Впрочем, рефлексии ростовского поведения можно разглядеть и в последних годах жизни поэта, но едва ли эти потенциальные построения могут быть доказаны или опровергнуты.

Таким образом, «Записки кавалериста» в значительной степени испытывают влияние романа-эпопеи Толстого, а для самого Гумилева Ростов, герой «Войны и мира», был жизнетворческой моделью. В русской культуре у Гумилева сформировалась несколько романтическая репутация доблестного и героического «поэта и воина». Наше исследование показывает, что «поэт и воин» выстраивал свой образ, основываясь не только на романтических представлениях, — в образе Гумилева (во всяком случае, в образе Гумилева на войне) проявилось толстовское начало, и это делает поэта сложнее, чем он кажется.

ЛИТЕРАТУРА

- Н.А. Богомолов, 1999: Читатель книг. Богомолов Н. А. *Русская литература первой трети XX века: Портреты: Проблемы. Разыскания*. Томск: Водолей. 52–80.
- , 1999б: *Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы*. Москва: Новое литературное обозрение.
- С. Г. Бочаров, 1987: *Роман Л. Толстого «Война и мир»*. Москва: Художественная литература (4-е изд.).
- Л. Я. ГИНЗБУРГ, 1999: *О психологической прозе*. Москва: Intrada.
- Н. С. ГУМИЛЕВ, I–VIII, 1998–2007: *Полное собрание сочинений: В 8 томах*. Москва: Воскресенье.
- А. ДАВИДСОН, 1992: *Муза странствий Николая Гумилева*. Москва: Наука.
- М. ЙОВАНОВИЧ, 2004а: Николай Гумилев и масонское учение: Йованович М. *Избранные труды по поэтике русской литературы*. Белград: Издательство филологического факультета в Белграде. 230–45.
- , 2004б: Базаров и Маяковский: Йованович М. *Избранные труды по поэтике*

- русской литературы*. Белград: Издательство филологического факультета в Белграде. 63–83.
- В. КРЕЙД (ред.) 1990: *Гумилев в воспоминаниях современников*. Редактор, составитель, комментарии В. Крейда. Москва: Вся Москва.
- З. Г. МИНЦ, 2004: Понятие текста и символистская эстетика. *Минц З. Г. Поэтика русского символизма*. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ. 97–203.
- В. В. ПОЛОНСКИЙ (ред.), 2014: *Политика и поэтика: русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны: Публикации, исследования, материалы*. Отв. ред. В. В. Полонский. Москва: ИМЛИ РАН.
- В. В. СИПОВСКИЙ, 1912: *История русской словесности: Часть III. Вып. 2: Очерки русской литературы XIX ст. 40-60-х годов*. Санкт-Петербург: Издание Я. Башмакова и Ко.
- Е. Е. СТЕПАНОВ, 2014: *Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918*. Москва: Прогресс-плеяда.
- К. Ф. ТАРАНОВСКИЙ, 2000: *О поэзии и поэтике*. Москва: Языки славянской культуры.
- А. А. ТАХО-ГОДИ (ред.), 2013: *Ф. М. Достоевский и культура Серебряного века: Мрадиции, трактовки, трансформации: К 190-летию со дня рождения и к 130-летию со дня смерти Ф. М. Достоевского*. Отв. ред.: А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи; Сост.: Е.А. Тахо-Годи. Москва: Водолей.
- Л. Н. ТОЛСТОЙ, I-XXII, 1978–1985: *Собрание сочинений: В 22 т.* Москва: Художественная литература, 1978–1985.
- Р. Д. ТИМЕНЧИК, 1986: «Над седою, вспененной Двиной...». Н. Гумилев в Латвии: 1916–1917. *Даугава*. №8.
- В. А. ШОШИН, 1994: Н. Гумилев и Н. Тихонов (Фрагменты книги «Повесть о двух гусарах»). *Николай Гумилев. Исследования и материалы: Библиография*. Санкт-Петербург: Наука. 201–35.
- В. ШУБИНСКИЙ, 2014: *Зодчий: Жизнь Николая Гумилева*. Москва: Corpus.
- Б. М. ЭЙХЕНБАУМ, 2009: *Лев Толстой: исследования: Статьи*. Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ.
- N. A. NILSSON, 1994: *Osip Mandelstam: Five poems*. Stockholm.
- E. RUSINKO, 1977: The Theme of War in the Works of Gumilev. *The Slavic and East European Journal* 21/2. 204–13.

POVZETEK

Prispevek obravnava delo *Zapiski konjenika* (1915–1916) Nikolaja Gumiljova, v katerih je opisano pesnikovo doživljanje prve svetovne vojne. Delo je močno zaznamoval vpliv romana Leva N. Tolstojaja *Vojna in mir*. Na površinski ravni Gumiljov polemizira s Tolstojem in njegovim videnjem vojne: za pesnika z začetka 20. stoletja vojna ni nesmiselno ubijanje ljudi, temveč je dogodek, ki prispeva k razcvetu človeškega duha in pokaže moč ter slavo ruske države. Toda pozornejša analiza pokaže, da Gumiljov s Tolstojem ni le polemiziral, temveč je bil tudi pod njegovim vplivom. Tako junak Gumiljova posnema Tolstojevoga junaka Nikolaja Rostova. Junak Zapiskov konjenika se ne le znajde v številnih okoliščinah, v kakršnih se je leta 1812 zna-

šel Nikolaj Rostov, ampak Tolstojevega junaka natančno posnema tudi po načinu mišljenja in govora in psiholoških značilnostih. Primerjava s spomini sodobnikov Gumiljova in analiza dela pesnikovega opusa, ki se nanaša na vojno, jasno pokažeta, da je bil v času prve svetovne vojne Nikolaj Rostov pesnikov vzornik in navdih za ustvarjanje. To se ujema s poznanimi epizodami iz pesnikove biografije, v katerih je Gumiljov svoje življenje ustvarjal po zgledu različnih leposlovnih besedilih, in sicer v celo tako skrajnih okoliščinah, kakršne predstavlja vojna.